

У статті обговорюється тема напруженого відношення індивіда і соціального порядку. Увага автора зосереджена на тому, що можна заздалегідь визначити як опір соціалізації. Формулюється екзистенціальне завдання індивіда, а саме: підтвердити і відстояти свою унікальність, задану вже на рівні природного буття, і в суспільному житті. Опір індивіда соціалізуючим зусиллям - це заклик природи або, на рівні рефлексії, жадання справжності. Теоретичний розвиток теми ведеться паралельно з аналізом трьох ситуацій із світу художньої літератури.

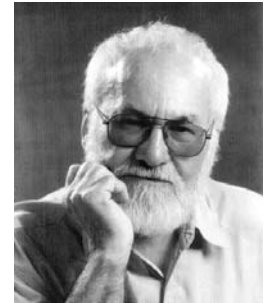
В статье обсуждается тема напряженного отношение индивида и социального порядка. Внимание автора сосредоточено на том, что можно предварительно определить как сопротивление социализации. Формулируется экзистенциальная задача индивида, а именно: подтвердить и отстоять свою уникальность, заданную уже на уровне природного бытия, и в общественной жизни. Сопротивление индивида социализирующим усилиям - это зов природы или, на рефлексивном уровне, жажда подлинности. Теоретическое развитие темы ведется параллельно с анализом трех ситуаций из мира художественной литературы.

In the article theme of tense relationships between individual and social order is discussed. Attention of author is concentrated on what could be tentative determine as resistance to socialization. Existential task of individual is formulated, that is to confirm and defend his/her uniqueness, already given on level of natural life and in social life, too. Individual's resistance to the efforts to socialize is the call of nature or, on the reflective level is the thirst of authenticity. Theoretical development of theme is given simultaneously with the analysis of three situations from world of fiction.

УДК 37.013.73

БРЕМЯ НОРМЫ

В. В. Шкода



Нормы встроены в жизнь столь крепко, что порядочный человек часто впадает в состояние, которое можно определить как *страх ошибки*. Человек обуреваем жаждой *соответствия*. Это касается, прежде всего, главных дел, однако, и в повседневном поведении непрерывно учтываются мелкие, казалось бы, детали. Каждый нормальный человек уверен в том, что от мелочей зависит самое существенное – *признание* его другими. Эта зависимость от нормы, послушание норме, формируется долго и в борьбе. С отменной прямоотой выразился на сей счет Гегель: "Главным моментом воспитания является дисциплина, смысл которой в том, чтобы сломить своеволие ребенка, истребить в нем чисто чувственное и природное"¹. Выходит, что ребенок появляется на пороге общества как дикарь или животное, которому предстоит болезненная процедура "одомашнивания". То, что он несет с собой по определению негативно, *чувственное* и *природное*, должно быть отброшено, заменено *разумным* и *культурным*. При таком понимании воспитания и появляется концепт "отклонение" как негативная характеристика поведения вообще. И понятие "санкция" тоже. Существует вроде

бы один правильный путь и великое множество отклонений от него на каждом шагу. Жизненная задача индивида – выйти на этот путь и держаться его.

Этой малосимпатичной сегодня моделью, с ее ключевыми понятиями "сломи" и "истребить", схвачена общая схема, по которой развертывается отношение воспитуемого человека и культуры. В результате такой человек, как объект воспитательных усилий, становится *нормальным*, то есть продуктом институтов порядка. Понятно, что так выглядит дело с точки зрения культуры, точнее, воспитателя. В этой модели человек не учитывается как автономный субъект. Его *формируют*, здесь нет даже намека на его право *создать самого себя*. А он к этому стремится, возможно, не зная того, иначе не было бы необходимости что-то ломать и истреблять.

Если попытаться представить дело от лица индивида, надо обратиться к иному языку. Первичным, по-видимому, будет здесь понятие "*уникальность*". Каждый человек имеет ряд неповторимых, присутствующих только ему антропологических характеристик, по которым, к примеру, проводят идентификацию личности. Так

¹ Гегель. Философия права. М., 1990, стр.220.

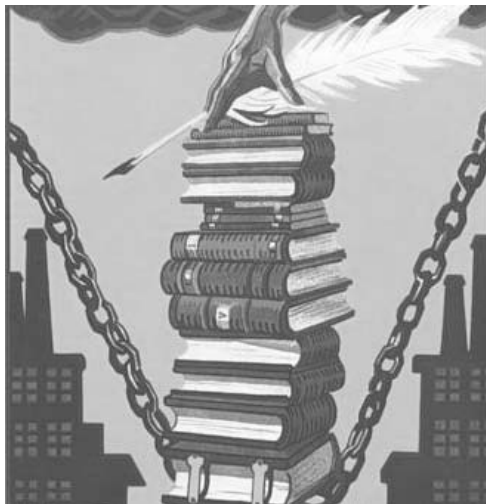
вот, экзистенциальная задача индивида – *подтвердить* и *отстоять* свою уникальность, заданную уже на уровне природного бытия, и в общественной жизни. Сопротивление воспитательным усилиям – это зов природы или, на рефлексивном уровне, – жажда подлинности. Стремление стать собой, не останавливаясь перед тем, что может быть истолковано как дерзость, как вызов социальному порядку. Здесь, по-видимому, уместно упомянуть об эмансипационном познавательном интересе Ю.Хабермаса. Речь идет о критике совершеннолетним (в смысле Канта) индивидом собственного ценностного ресурса, в обретении которого он не принимал сознательного участия. В результате саморефлексия “освобождает субъекта от зависимости гипостазированных им сил”².

Чтобы подтвердить и отстоять свою уникальность, индивид нуждается в среде обитания с особыми свойствами. Ему необходимы условия, среди которых неизменно являются, на мой взгляд, следующие – возможность *единения*, возможность *спонтанных действий* и *разнообразия*. Вообще говоря, эти понятия в целом эксплицируют идею Свободы, но, боюсь, что на нынешнем этапе понимания темы развить эту мысль должным образом мне не удастся.

Эта тема – напряженное отношение индивида и порядка, предстает перед исследователем не только в реальной жизни, но и в реальности, конструируемой художественной литературой. Причем, на равных правах, в том смысле, что эта вторая реальность именно исследуется, а не используется для иллюстрации истин, добытых наукой. Далее предлагается анализ трех ситуаций, что-то вроде case study.

1. Николай Всеволодович Ставрогин – порядочно образованный изящный джентльмен, приехал к матери в губернский город и жил там с полгода, с неуклонным вниманием исполняя сложившийся этикет. И вдруг “наш принц” совершает три безобразных поступка, неслыханной дерзости. В мужском клубе он ухватил двумя пальцами за нос почтенного посетителя и протянул за собой по зале два-три шага. Разразился скандал, а все от того, что сей посетитель клуба час-

то вставлял в свою речь дурацкую фразу: “Нет-с, меня не проведут за нос!”. Такая была у него невинная привычка. Все общество оскорблено, поднялся крик, а Николай Всеволодович, пожав плечами, уходит. На другой день он был приглашен местным обывателем, из третьестепенного слоя, на день рождения его жены. Ставрогин догадался, что обыватель позвал его из-за вчерашнего скандала в клубе. Считая себя либералом, тот выказал таким образом восхищение поступком Ставрогина. На вечеринке, затеялись, как водится, танцы. Ставрогин пригласил именинницу, сделал с нею два тура, затем уселся рядом и вдруг “обхватил ее за талию и поцеловал в губы, раза три сряду, в полную сласть”. Испуганная женщина упала в обморок. А Ставрогин тут же покинул дом в сопровождении хозяина, который подал ему шубу и с поклонами проводил с лестницы. Наконец, поистине дикий случай. Ставрогина вызывают для объяснений к старичку губернатору, дальнему его родственнику. На приеме они сидят рядом. После мягкого доброжелательного поучения губернатора спрашивает, что побуждает Nicolas к таким не-



обузданным поступкам. Nicolas наклоняется к уху губернатора, и оно, доверчиво “протянутое”, оказывается вдруг прихваченным зубами злодея... Ставрогин через полчаса был арестован и отведен на гауптвахту. Среди ночи он устроил в своей камерке дебош, бил кулаками в дверь, разбил стекло и изрезал себе руки.

В этом по необходимости скудном описании отрывка из “Бесов” представлены только действия героя: ухватил за нос почтенного человека, публично и насильно поцеловал чужую жену, прихватил зубами ухо губернатора. Какова реакция публики? С реакцией произошла эволюция: от взрыва всеобщей ненависти и требования “обуздать вредного буяна” к стыду, жалости и всеобщему облегчению. Было установлено, что дебош в каземате Ставрогин совершил в состоянии сильнейшей белой горячки.

2. Сальери – *нормальный* композитор, слишком нормальный. Он – человек серьезный, гений порядка, он чтит традицию, откровенно корпоративен. Еще в детстве он, отринув все, что чуждо музы-

² Хабермас Ю. Познавание и интерес” / Юген Хабермас // Философские науки. – 1990. – № 1. – С. 94.

ке, шел к успеху и славе в упорном труде, поднимаясь, шаг за шагом. Он ставит на технику, метод и анализ, поверяет "алгеброй гармонию". Ему не знаком страх подражания. Когда явился великий Глюк, он бодро пошел вслед за ним, "Безропотно, как тот, кто заблуждался". Он никогда не знал зависти, это – главное. Моцарт возбудил в нем эту темную страсть. Итак, порядок, нормы, правила – во всем. Даже Бог, считает Сальери, обязан соблюдать порядок, точнее, принцип воздаяния. Увы, "О небо! Где же правота?". А дело в том, что "священный дар", "бессмертный гений" послан не ему, Сальери, в награду за труды и усердие, а Моцарту. За что?

Моцарт – человек иного склада, без царя в голове. Моцарт легкокреативен, вообще лёгок, ироничен к себе, относит себя к счастливицам праздным, пренебрегающим презренной пользой, склонен к спонтанным поступкам. Вот он шел к Сальери, нес показать "кое-что", "безделицу", "две, три мысли", которые явились ему наемни в бессоннице, и утром он их "набросал". По пути услышал музыку, в трактире играл слепой скрипач. Привел его, заказал для Сальери что-нибудь из Моцарта. Старик играет, Моцарт хохочет, удивляется, что Сальери не смешно. А тот разгневан профанацией и гонит старика вон. Затем Моцарт исполняет свою новую вещь. Сальери ошеломлен: "Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь; я знаю, я".

3. Читатель знакомится с Лужиным в день, когда его отец, не без опаски, объявляет, что с понедельника он будет Лужиным. Потом они едут из усадьбы на станцию – Лужины и гувернантка. Заканчивалось лето, Лужина уже определили в школу. На станции, когда ожидали поезд, он сбежал, пустился по лесу обратно в поместье. План был простой – добраться до дома и жить там в одиночестве, "питаясь в кладовой вареньем и сыром"... Дальше началась школа – нечто отвратительное, "невозможный неприемлемый мир", уроки и толпа мальчиков с их ненавистью и глумливым любопытством. Лужин убежал и здесь. На больших переменах он устраивался под аркой, где были сложены дрова. Там и сидел в одиночестве, на поленьях. С первого дня и до последнего.

И вот, к концу учебного года, наступил для Лужина день, когда сей мир вдруг отступил и потух. Это произошло в отцовском кабинете, где было темно и можно было спрятаться от взрослых, затеявших для себя музыкальный вечер. Телефонный звонок, буфетчик позвал кого-то из гостей. Разговор, гость машинально потрагивает на столе гладкий ящик. Нако-

нец, повесив трубку, он вздохнул и открыл ящик... Для Лужина открылся мир шахмат, началось и остановилось счастье.

И далее, почти двадцать лет – турниры, турниры, турниры. Европейские города, все на одно лицо, гостиница, таксомотор, зал в кафе или клубе. "Появился некий Валентинов, что-то среднее между воспитателем и антрепренером". Приходит известность, о Лужине пишут газеты. Валентинов, собственно, и ввел его на шахматный олимп. А внешняя жизнь, сведенная к автоматизмам, принималась как нечто неизбежное и совершенно незамысловатое. Он изредка замечал, что существует, по болезненным сигналам тела. Даже деревянные фигуры и черно-белая доска стали ненужной подробностью его действительной жизни. В этой жизни не было материи и, главное, людей. Там была гармония, тонкие комбинации. "Лужин замечал, как легко ему в этой жизни властвовать". Все слушается его воли и покорно его замыслам. Он охотно играл вслепую, не было нужды в осязаемых фигурах, этой грубой оболочкой "незримых шахматных сил".

Шахматная жизнь Лужина окончилась в одно мгновение. Произошло это в самом конце ответственного турнира, в котором Лужину прочили победу. От величайшего напряжения, от шахматной усталости случился обморок. Лужин серьезно заболел, попал в больницу. Приходя в себя, он как бы рождался в совершенно другую жизнь. Этой жизни не было бы, не появись рядом с Лужиным светлое создание, "тургеневская девушка" из богатой семьи. Она стала его женой. Для него эта жизнь была наполнена переживаниями, которые обычные люди связывают с любовью, и еще было блаженство узнавания мира вещей, для нее – блаженством сострадания и смутным чувством, что бываю еще блаженства, но до этого ей нет дела. В этой новой жизни было много воспоминаний, особенно из детства. Приятно и удивительно было, что детство представлялось теперь не местом дремлющих ужасов, а обителью удивительно безопасной. Долгая шахматная пора усилиями доктора и жены была вычеркнута, забыта. И выходило, что "свет детства непосредственно соединялся с нынешним светом".

А потом был бал – роковое, жуткое событие. Много народа, теснота и движение. Там Лужин встретил одноклассника, одного из мерзких школьных мучителей. По ночам он стал размышлять, почему так жутка была эта встреча. Конечно, она имела тайный смысл, который надо разгадать. Лужин вдруг обнаружил, что с той встречи стали повторяться образы его детства. Постепенно вернулась игра, ре-

альная жизнь превратилась в шахматную доску. Наступило время кошмаров, которых, впрочем, кроме Лужина никто не замечал. В обычных вещах Лужину мерещатся шахматные фигуры. Стало понятно, что кто-то ведет игру, выстраивает коварную комбинацию с не ясной пока целью. Надо спастись, найти защиту. Мысль о том, что повторения будут продолжаться, изнуряла Лужина. Иногда ему "хотелось остановить часы жизни, прервать вообще игру, застыть". Снова появился Валентинов. Как всегда при идеях, он предложил Лужину участвовать в задуманном им фильме, о гениальном шахматисте. Вместо актеров с героем будут играть "настоящие живые шахматисты". Лужин все понял: кинематограф только предлог – ловушка. Они хотят опасного повторения – вернуть его в шахматную игру... Его последние слова жене: "Единственный выход – нужно выпасть из игры". И Лужин выпал, выбросился из окна своей квартиры в шестом этаже. А внизу "вся бездна распалась на бледные и темные квадраты".

При подготовке этих трех презентаций вспомнился Ф.Энгельс, его оценка О.Бальзака: из сочинений этого романиста он узнал больше о французском обществе, чем из книг всех специалистов – историков, экономистов, статистиков. А тема девиантного поведения? Кажется, порой, что художественная литература для нее создана, для нее живет. Чтобы читатель социолог постигал тонкости этого феномена методом анализа документов. Вообще, французы и сегодня чтут этот источник. Не от того ли их научные тексты столь литературны. Или причина уже в другом – в желании снискать успех, завоевать любовь профессиональных и массовых аудиторий? Вместо того, чтобы явить истину.

Нам остается соотнести приведенные ситуации с декларированной ранее экзистенциальной задачей индивида – *подтвердить* и *отстоять* свою уникальность, заданную на досоциальном уровне.

1. Ставрогин решает эту задачу вполне сознательно. Он сосредоточен на себе самом, мало интересуясь другими. Его, изоциально культурного человека, привлекают разнообразные социальные ниши или миры, пребывая в которых он чувствует себя свободным. Он может играть в разные игры, пробовать себя, экспериментировать над собой. Кажется, он ищет, чего бы еще можно было себе позволить, как еще опробовать свою силу. Он атакует нормы, запреты. Нормативный порядок как будто бы создан для него, как груша для боксера.

Что можно сказать о конкретных поступках Ставрогина? Федор Михайлович

на девяти страницах искусно расставляет метки, чтобы исключить однозначное объяснение ситуации, это вообще ему свойственно. Читателю подбрасываются две одинаково правдоподобные версии: 1) Ставрогин действовал в полном уме с наглым умыслом, а в каземате симулировал припадок, 2) Ум Ставрогина поврежден еще до скандальных событий, он действовал каждый раз как бы в бреду. Обе версии недостойны нашего писателя. По первой выходит, что перед нами обыкновенный негодяй, это слишком просто. Вторую версию отстаивают сторонники медикализации безумия – "медицинские материалисты". Они находят в тексте неоспоримые доказательства в пользу болезни. Известны профессиональные исследования девиаций Ставрогина, один специалист установил диагноз – шизофренический шуб. Здесь можно развить тему медикализации, насколько этот прием упрощает сложные ситуации, в которых приходится анализировать нравственно неприемлемое поведение человека. Болезнь все списывает, действительно наступает полная ясность. И всеобщее облегчение, ибо нет нужды разбираться в нравственных сложностях. Но в нашем случае это не проходит. Не того настроения наш писатель, чтобы заниматься больным. Мое же заключение следующее: да, Ставрогин заболел, но не до событий, а после. Заболел вследствие этих событий. От сильного психического напряжения, которого потребовал эксперимент над собой, поиск ответа на вопрос, *могу ли я?* Эта интерпретация не тривиальна, приняв ее читатель может прочувствовать огромную тяжесть нормы. И цену нравственной автономии.

2. Поведение Моцарта естественно для гения. Он внесоциален, ему нет нужды атаковать нормы. В своем творчестве он не оглядывается на нормы, методы, он их просто не замечает. Кстати, отнесение музыки к науке в этом сочинении не случайно: Моцарт действует в духе "against method", не зная того. Он опасен своей уникальностью. Он – девиант, отщепенец. Его музыка запредельна, оторвана от традиции. По сравнению с ним, "неким херувимом", все другие музыканты – лишь чада праха. От Моцарта искусству никакой пользы, только вред. Он не может стать образцом, примером, не может научить. Моцарт лишь возбуждает бескрылые желания. Здесь ему не место, его место Там. Говоря социологически, самим бытием своим Моцарт разрушает ценностно-нормативные устои искусства. Что до поступка Сальери, то, по его словам, это – исполнение долга: "я избран, чтоб его остановить" – спасти музыку от гибели, музыку и всех ее служителей. Не

в зависти, оказывается, дело. Впрочем, и зависть можно оставить. Тогда перед нами чистый случай *идеологического* мышления. Укорененное в биологии желание устранить соперника обрамляется в рассуждение об общественном интересе, заботе о социальном институте. Потом, правда, будут слезы, после яда и Requiem'a. Зыбка грань между живым человеком и исполнителем "исторической миссии".

3. Вся жизнь Лужина – побег от мира сего. Он убегал, избегал, сторонился. Лужин нигде и ничему не учился, в обычной школе пробыл один неполный год. До крайности не социализирован, не воспитан. С детства он не принимал этот мир, чувствовал вокруг что-то отвратительное, муть из смеси лжи, измен, глупости. Адепты медиализации необычных форм поведения услужливо подсказывают нам, в чем здесь дело – типичный аутизм. И Владимир Владимирович позаботился: симптомы этой болезни аккуратно расставлены по всему тексту. На мой взгляд, апелляция к болезни – культурный феномен, указывающий на расширение власти медицинского сообщества в суждениях о человеческом поведении. "Больной" – это негативная оценка. Возможна, иная позиция, когда ключевым понятием является "общительность" или "открытость миру". У некоторых людей это свойство слабо выражено, они *иные*. Такой индивид, решая на подсознательном уровне экзистенциальную задачу подтверждения своей уникальности, блокирует воздействия, формирующие социальные нормы, но жадно впитывает все, что относится к нормам *техническим*. Или правилам оперирования с абстрактными объектами. В нашем случае это – математика, шахматы и музыка, миры для людей, внесоциальных и обладающих тонким чутьем гармонии.

Уединение, социальная самоизоляция – это избегание норм, безразличие к игре, называемой общением, к поискам правильных ходов в этой игре. Такое безразличие осуждается в бодряческих обществах, или вызывает сочувствие. "Если некоторая замкнутость, отстраненность человека продолжается длительное время, это воспринимается как издержка характера (высокомерие, холодность, снобизм и т. п.). Полная некоммуникабельность квалифицируется как "странность", свидетельствующая о психическом нездоровье"³. Между тем давно признан амбивалентный характер феномена одиночества. В известном высказывании Аристотеля о

человеке политическом внеполисный человек определяется как "либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек". На вторую крайность почему-то не принято обращать внимание. Когда будущая жена Лужина спросила, давно ли он играет в шахматы, последовала неприлично длинная пауза и затем ответ: "Восемьнадцать лет, три месяца и четыре дня". Это что – ответ больно-го?

Возвращаясь к условиям, необходимым для решения индивидом своей экзистенциальной задачи, – возможность *уединения*, возможность *спонтанных действий* и *разнообразия*, замечу, что эти условия ограничивают плотность социального порядка. Возможно, существует некая мера плотности, превышение которой вызывает у человека тревожность, а затем протест и деструктивное поведение. В этом контексте надо признать не корректным понятие немотивированной девиации, особенно когда речь идет о случаях публичного посягательства на порядок. Действующий мотив, так сказать, метафизически существует, но скрыт, не явлен самому субъекту деструктивного действия. В современных обществах бремя технологического и социального порядка становится угрожающим. Эта тема, по-видимому, предполагает обращение к происхождению порядка в целом или его источнику. Теперь это не Бог и не Природа (человека), теперь это сам конкретный человек, человек у власти. Это обстоятельство (в сочетании с идеей равенства) порождает озлобление на жизнь по силе своей невиданное в прошлые эпохи.

Стаття надійшла в редакцію 03.03.2010 ■

³Головаха Е.И. Социология: наука или искусство / Е.И.Головаха // Наукові студії львівського соціологічного форуму "Традиції та новації в соціології". – Львів, 2009. – С. 4.
Е. И. Головаха Психология человеческого взаимопонимания / Головаха Е. И., Панина Н. В. – Киев, 1989. С. – 233.